



T. Agamben

георгий **АДАМОВИЧ**

ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА

T. Agnew

ГЕОРГИЙ **АДАМОВИЧ**
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Редакционная коллегия:

О. А. Коростелев (Москва)

А. И. Серков (Москва)

С. Р. Федякин (Москва)

Жорж Шерон (Лос-Анджелес)

ГЕОРГИЙ **АДАМОВИЧ**
ОДИНОЧЕСТВО И СВОБОДА



Санкт-Петербург 2002

УДК 882.09
ББК Ш5(2=Р)52
А28

Адамович Георгий Викторович

А28 Одиночество и свобода / Сост., послесл., примеч.
О. А. Коростелева. — СПб.: Алетейя, 2002. — 476 с.
ISBN 5-89329-435-1

«Одиночество и свобода» (Нью-Йорк: Изд-во имени Чехова, 1955) — единственная прижизненная книга критической прозы Г. В. Адамовича (1892–1972). Составленная из заново отредактированных, а частично и вновь написанных статей, публиковавшихся в эмигрантских газетах и журналах (преимущественно в «Последних новостях» и «Современных записках» в 1920–1930-е годы, но также в «Русских новостях» и «Новом русском слове»), она подводила литературные итоги первой волны, вызвала в эмиграции интересную полемику, задав тон и уровень разговора и в большой мере определив послевоенную литературную ситуацию. В приложениях к комментированному изданию — история подготовки книги, воссозданная по переписке Адамовича, а также полный свод его писем к редакторам Издательства имени Чехова, публикуемый впервые.

ББК Ш5(2=Р)52

ISBN 5-89329-435-1



9 785893 294354

© О. А. Коростелев, составление,
послесловие и примечания, 2002
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2002

РЕМИЗОВ

С первой страницы, с первой строки любой из Ремизовских книг чувствуется, что это, как говорится, настоящее. Но как оно диковинно, это «настоящее», и сколько мыслей возбуждает оно, независимо от непосредственного содержания текста, сколько мыслей о нашей литературе вообще, о ее возможном будущем, о ее прошлом, еще до пушкинском и даже до-ломоносовском, о многом, многом другом! Факт существования Ремизова, факт его присутствия и участия в нашей современной словесности сам по себе значителен и важен: даже при несогласии с ним сознаешь, на каком он творческом или хотя бы просто техническом уровне, — а иногда случается даже иную фразу, наспех, кое-как написанную, исправить, вспомнив вдруг, что и ему она может попасться на глаза и что покачает он головой, поморщится, усмехнется лукаво и гневно.

Лукаво и гневно... Слова эти для духовного облика Ремизова существенные, хотя и недостаточные: надо было бы прибавить к ним слово «скорбно». Скорбь, лукавство и гнев — вот что отчетливее всего другого входит в ту причудливую тональность, в которой держится творчество Ремизова, и вот отчего трудно дать ясную характеристику: черты меж собой слишком несходны, а

переплетены они в книгах его слишком тесно. Бывает, что пишет он о России, или о любви, или об одиночестве, — и пишет так, с такой страстью и огнем, с такой неистовой силой, что кажется вот-вот раскроются какие-то последние тайны его мысли и чувства. Но нет, тут же рядом и смешок, да настолько язвительный, что само собой возникает сомнение: не иронизировал ли он и тогда, когда взывал к небесам? Чего он хочет от нас, этот колдун, умный и искусный, тихий и беспокойный, — чего в конце концов хочет он от человека? Если бы существовал какой-нибудь высший суд, где нельзя было бы отшутиться, — какой бы дал он ответ насчет своих важнейших надежд и стремлений?

Улыбка, усмешка, да еще влечение к затейливой сказочности отличают Ремизова от Достоевского, с которым он во многом так кровно, неразрывно связан, и сближает его с Гоголем. Эти две вершины из великого горного хребта русской литературы — Достоевский и Гоголь — внешне во многом схожи, но по существу глубоко различны, о чем с редкой пронизательностью писал когда-то Вячеслав Иванов, утверждавший скрытое родство Достоевского и Лермонтова. Ремизов, соединяя в себе оба начала, создает сплав, слитность и крепость которого держится на том, что от Достоевского и Гоголя перенял он их тягу к страданию. «Страстный к страданию человек»: — эти слова Достоевского можно было бы повторить и об авторе «Пятой язвы» или «Взвихренной Руси». Со страстью к страданию Ремизов унаследовал и некоторую взвинченность, приподнятость вдохновения,

то именно, что впервые внес в нашу литературу Гоголь, вероятно, к удивлению Пушкина, — то, что к уже несомненному, не раз выраженному удивлению Толстого расцвело пышным цветом у Достоевского... Есть ли у этой линии прямое продолжение? На чем она основана, помимо особенностей индивидуальных? Куда она ведет и что обещает? Замечательно, что Ремизов, с его острой тревогой о современности, с его интересом к самым что ни на есть последним западным литературным веяниям, — а то даже и к приперченным, едва ли долговечным парижским новинкам, — глядит назад, в русскую допетровскую старину, в тяжелый и тяжкий наш семнадцатый век, немножко вроде того, как непоседливый карамазовский черт тосковал об окончательном воплощении в семипудовой купчихе. Ремизов не столько славянофил, сколько мечтатель о славянофильстве, в снах и видениях находящий доводы, которых не нашел бы разум.

Сны, сказки, гнев, какие-то глухие, будто подземные толчки, недомолвки, намеки, скорбь и всегдашняя готовность увильнуть, отделаться шуткой... Какой странный писатель! И не объясняется ли хотя бы отчасти — помимо причин чисто литературных, причин законных и естественных, — не объясняется ли хотя бы отчасти то особое внимание, которым Ремизов окружен на Западе, общим западным влечением к «странному», сказавшемуся в культе Достоевского? Деятнадцатый век кончился. Мир как будто не удовлетворяется тремя измерениями и томится о четвертом. Земля как будто стала тесна, природа как будто стала бедна

и скучна, — нельзя ли прорваться в иную, неведомую область? Ремизов дразнит воображение и поддерживает надежды, о которых никто твердо не знает, несбыточны они или нет.

О зависимости Ремизова от Достоевского и, в частности, о времени, в котором мы живем.

Есть люди, для которых еще как будто длится девятнадцатый век. Назвать ли этих людей отсталыми? Едва ли это было бы справедливо, ибо речь ведь вовсе не о предвзятом пристрастии к идеям и настроениям заведомо отжившим, а о вере, что при всех новейших потрясениях и переменах эти идеи и эти настроения одни только способны одушевлять и вести человечество и дальше. Кажется, больше чем какой-либо другой век — больше даже чем век предыдущий, вольтеровский — век девятнадцатый склонен был признать себя веком «окончательным», после которого подлинно-существенные открытия уже невозможны и остается место лишь для усовершенствования и разработки найденного. «Царство науки не знает предела», разум восторжествовал над суеверием и тьмой, прогресс обеспечен, и так далее, и так далее, без каких-либо колебаний относительно возможных неожиданностей и сюрпризов. Путь был как будто расчищен, и девятнадцатый век отказывался допустить, что кому-либо, кроме заведомых чудаков и оригиналов, придет в голову с него свернуть, в частности в литературе или искусстве. Произнесено было великое, всеобъемлющее слово «жизнь», причем понятие это было мало-помалу сужено до отражения непосредственной реальности или даже обыденщины, в соот-

ветствии с основным убеждением века, что для всяких откровений и тайн время прошло. Писатели стремились быть «правдивыми», — не только внутренне, но и внешне, в воспроизведении обыкновенного заурядного человека, его повседневных забот, всей окружающей его обстановки. С богами, героями, волшебниками, безумцами и рыцарями было покончено, и место их занял некий нарицательный Иван Иванович, иногда ничтожный, иногда гениально-одаренный, в зависимости от вкусов и склонностей автора, но всецело находящийся в лапах жизни и сознающий, что выбраться из этих лап, или хотя бы только мельком взглянуть, есть ли что-нибудь за ними, никому не дано. Не было века более надменного и самоуверенного, чем век девятнадцатый: все, что находилось с ним в противоречии, он провозгласил отжившим, державшимся лишь на предрасудках и косности, а о преодолении реализма — или хотя бы только о пресыщении реализмом, усталости от него, внутреннего опустошения его, — не допускал и мысли... Не было века более трагического... Говоря обо всем этом, трудно не вспомнить имя писателя, который тоже кажется иногда «окончательным», и который настроения эти воплотил, выразил, возвеличил, как никто другой — имя Толстого. Беспокойное сознание, вечно встревоженная душа Толстого далеко не во всем были согласны с доминировавшими веяниями эпохи. Но все же в глубочайшей сущности своего бесконечно противоречивого творчества Толстой — истинный поэт эпохи, как будто нашедшей границы доступного нам мира и уверенной в том, что от-

вести их дальше нельзя. Никто так не связан с землей, как Толстой. Никто не стоит на ней так прочно, тяжело, всей ступней. После «Смерти Ивана Ильича» хочется иногда спросить, и себя, и других: о чем же еще писать? Не «окончательная» ли это вещь, после которой все решительно должно показаться болтовней? (кстати, есть в дневниках П. И. Чайковского приблизительно такая запись, относящаяся именно к «Смерти Ивана Ильича»). При желании, при наличии таланта можно только дописывать или приписывать, т. е. дополнять, комментировать. Говорить по-настоящему больше не о чем.

Есть, однако, другое великое русское имя, Достоевский, и, по-видимому, действительно суждено нам без конца имена эти сопоставлять и сталкивать: никуда от них не уйдешь! Достоевский тоже принадлежит к прошлому веку. Но скорей формально, чем по существу. Деятнадцатый век удивился Достоевскому, но не полюбил его — скорей испугался его — и едва ли хорошо его понял. Всемирное признание автора «Бесов» и «Карамазовых» — дело последних пятидесяти лет, также как и всемирное влияние его, кое-где еще растущее, кое-где уж ослабевающее. Именно в последние пятьдесят лет появились люди, которым с Толстым и художниками его склада, если и не скучно, то душно. Люди, которым душно, тягостно и тесно в мире, с прихлопнувшейся над ними крышкой. Люди, которые задыхаются в таком мире... Достоевский задыхался и сам: нет образа, который в простоте своей точнее бы соответство-

вал ему, чем образ рыбы, бьющейся на песке. Но, задыхаясь, он уловил что-то невиданное и неслыханное, — будто в мучительном, последнем усилии, привстав на цыпочки, глотнул воздуха, о существовании которого Толстой и не подозревал. Достоевский пробил в стене девятнадцатого века брешь, и туда за ним ринулось все недовольное миром, все неужившееся, тоскующее, ищущее выхода, дополнения, поправки. Литература нашей эпохи, в особенности та, которая считает себя передовой, всегда имеющая вызывающий, анархический привкус, какие бы ярлыки она себе не присвоила, литература эта им вдохновлена и вскормлена, и с ним, вероятно, начнет стареть и вянуть. Дело-то ведь не в том, кто кого обогнал, а в том, кто ошибся. Кто ошибся? — вопрос стоит именно так, исключительно так. Есть ли что-нибудь хоть сколько-нибудь реальное, хоть сколько-нибудь достижимое за догадками и намеками Достоевского? Оправдан ли его порыв? Или это только игра, «пленной мысли раздраженье», после чего крышка над нами и нашим миром окажется еще плотнее? Погуляв по вольным, призрачным «мирам иным», обречен ли человек рано или поздно вернуться домой, к разбитому корыту? Короче, что в глубине всего, написанного Достоевским, — бред или прозрение?

Ответ «объективный» невозможен. Каждый ищет — или находит — его в себе и для себя. Ответ Ремизова ясен. Не случайно в самой последней своей книге он, говоря о «скучных страницах» русской литературы, решился сказать, что в этом отношении «рекорд побит Толстым».

На взгляд поверхностный, Ремизов из всех современных русских писателей Западу наименее доступен. Он должен будто бы навсегда остаться западным читателям чужд. Но не то же ли самое говорили и писали когда-то о Достоевском? Не утверждал ли Мельхиор де Вогию, что Достоевский — «романист бесспорно талантливый» — останется для Запады непонятен и чужд из-за слишком специфически русского склада его творчества? А на деле русский склад стал для славы Достоевского чем-то вроде трамплина. «Есть у книг своя судьба». Очевидно, это верно и для Ремизова: именно то, что могло бы оттолкнуть и смутить, усилило к нему внимание, и помимо тоски современного западного мира о новом, неизведанном, незнакомом в плане идейном, самая «русскость» Ремизова, да еще с налетом азиатчины, обеспечило влечение и интерес к нему.

Западу мало интересно русское западничество в самом широком и общем смысле этого слова. Запад инстинктивно ждет от России какой-то экзотики, на чем и основано то, что Пушкин — всякую экзотичность отбросивший, Пушкин, утвердивший наше творческое равноправие в семье европейских народов, явившийся, по Герцену, как «ответ России на вызов Петра» — никогда Западу близок и дорог не станет. Скорей уж прельстит его Гоголь, со всеми своими потомками.

В современной русской литературе некоторое безразличие, даже «холодок» со стороны Запады по отношению к Бунину в сравнении с любопытством к Ремизову невозможно объяснить иначе.

Мы сознаем и чувствуем себя европейцами, а Запад — притом именно западные друзья наши, а не какие-либо ненавистники и отрицатели всего русского — нередко толкают нас обратно в Азию, в смутной надежде, что мы оттуда принесем какие-то сокровища. Мы убеждены, что с Пушкиным Россия вышла из стадии ученичества и подражания, что она участвует в общем человеческом деле, усвоив при этом общечеловеческий, ничуть не обезличивающий облик, а нам рукоплещут при всякой попытке вернуться обратно к «раскосым рожам», по выражению Блока. Никакого пренебрежения, ни малейшего высокомерия по отношению к этим «рожам», многое давшим, многое в мире сделавшим, у нас нет. Каждому свое. Но верность России и русскому духу все же не в том, чтобы перечеркнуть все добытое великим вдохновением, — после стольких сомнений и раздумий...

Нет ни одной книги Ремизова, — из тех, по крайней мере, которые написаны им в последние двадцать-тридцать лет, — где не было бы упоминания о русском языке, о том, что в наше время настоящий, исконный русский язык забыт и оставлен, что даже лучшие русские писатели пишут на лад французский или немецкий. «Заговорит ли Россия по-русски?» («Огонь вещей») — это стало у Ремизова чем-то вроде навязчивой мысли: о чем бы он ни говорил, без вздоха об оскудении русского языка дело у него не обходится.

Вопрос о нашем литературном языке очень сложен, и притом далеко не нов. Более полутора-ста лет тому назад возникли сомнения, близкие к тем, которые смущают Ремизова, и если перечесть кое-что из того, что писал Шишков, — который при несомненной вздорности своих «словенских» теорий, высказал все же о русской речи довольно много пронизательных суждений, и в литературе нашей незаслуженно осмеян, — если перечесть то, что писал Шишков, или Гнедич, или Батюшков, а в особенности Востоков, кажется, что спор именно с тех пор и длится, то затихая, то обостряясь. Сложность вопроса увеличивается еще тем, что он неразрывно связан со всем ходом русской истории, а больше всего, конечно, с Петром и «Петровым делом». Недаром Батюшков назвал Шишкова «главой славянофилов», притом в те годы, когда настоящих славянофилов еще и не существовало. Славянофильские влечения Ремизова, насколько помню, никогда им не высказывавшиеся в открытом виде, отчетливо обнаруживаются в его отношении к языку. Хомяков с Константином Аксаковым не додумались до того, чтобы писать в его духе: в голову не пришло, да вероятно, не хватило бы для этого знаний и языкового чутья! Но ремизовский стиль и его лингвистическая проповедь, совпадающая с некоторыми их мыслями именно о языке, — вода на их мельницу. И да простит меня автор «Подстриженных глаз» и «Огня вещей» за шутливое сравнение: как Константин Аксаков, по Чаадаеву, одевался настолько по-русски, что народ на улицах

принимал его за персиянина, так может случиться и с Ремизовым. Уж до того по-русски, до того по-своему, по-нашему, по-московски, что кажется иногда переложением с китайского!

Ремизов неизменно утверждает, что надежды на языковую реставрацию у него нет. Реставрация невозможна, против этого он не спорит. Хотелось бы ему только одного: придать гибкости русскому синтаксису, настроить речь в тон и лад речи старинной, убедить, что наша школьная грамматика произвольна и неосновательно тиранична, что мы сами себя обворовали, доверившись Гроту и другим лжезаконодателям, отбросив бывшие богатства, в которых языковой творческий гений русского народа предстает в полной силе и блеске.

В этом своем лингвистическом бунте Ремизов бывает прав, нельзя этого отрицать. Замечательно однако, что бунт его не встречает ни возражений, ни сопротивления, — по крайней мере в печати, — даже и в тех случаях, когда правота его до крайности сомнительна. Просмотрите, припомните любую рецензию на любую книгу Ремизова: уже что-то, а язык и стиль в них будто бы такой, что кроме восхищения и подражания ничего вызвать не должен бы! Может возникнуть иллюзия, что современные русские писатели просто не в силах ему следовать, а в душе-то признают его сетования справедливыми, — как иной грешник продолжает по малодушию грешить, зная и чувствуя, что следовало бы внять наставлениям какого-нибудь святого старца. Едва ли однако возможны сомнения, что настанет время, когда во всеоружии исто-

рических и лингвистических знаний, подлинный ученый, наделенный при этом подлинным чутьем к слову, установит к ремизовским призывам и обличениям единственно верное отношение: как к любопытной, курьезной, очень талантливой причуде, как к занимательной и даже соблазнительной ереси, — в соответствии, впрочем, со всем творческим обликом Ремизова, где причуды, затеи, игра, капризы и странности чувствуются за каждой чертой.

В каких случаях Ремизов бывает несомненно прав? В тех, конечно, когда возмущается он нашим средним газетно-журнальным слогом. Стиль заурядной, средней газетной передовой статьи — самое вялое, самое безличное, бесцветное, «суконное», что можно себе представить, и надо отдать справедливость советским журналистам: в этом отношении они дадут своим дореволюционным или эмигрантским соперникам сто очков вперед! Но это ясно, это бесспорно, и не стоит ломиться в открытую дверь. (Кстати случайная цитата из «Известий», на днях мне подвернувшаяся и запомнившаяся: «Мастера льда и других аналогичных видов спорта должны функционально вложиться в дело молодежной подготовки...» Ну как, в самом деле, не вспомнить гоголевского судью: «Боже мой, что за перо у этого человека!»)

У Ремизова задачи другие, более высокие. Он вовсе не на газетных хроникеров идет походом и даже не на каких-нибудь нео-Скабичевских, с их удручающе стереотипным словарем и синтаксисом. Если исключить Гоголя, нет, кажется, ни одного

великого русского писателя, язык которого был бы ему по душе. Отношение его к Пушкину постоянно двоятся: с одной стороны, Пушкин советовал учиться языку у московских просвирен, что, конечно, Ремизову нравится, с другой — сам писал точно и ясно, сравнительно короткими фразами, как учил Вольтер, да и при симпатии своей к московским просвирням, заметил, что лучшая русская проза — карамзинская. Нравиться это Ремизову не может. О других нечего и говорить. В последней своей книге «Огонь вещей» Ремизов оказался на счет этого откровеннее, чем прежде, и сделал несколько поистине удивительных открытий: Толстой, например, был «словесно бездарен», а «учиться писать по Толстому все равно, как учиться говорить по Столпнеру». Что касается Тургенева, то что же, писал он, может быть, и хорошо, «только не по-нашему». О современных собратях Ремизова по перу в книге упоминаний нет, но что он о них думает — ясно всякому.

Как мало осталось в нашей литературе страсти, задора, любви к своему делу, беспокойства за его судьбу! Чем, кроме того, что «писатель пописывает, читатель почитывает» можно объяснить молчание, которое одно только было ответом на эти оценки Ремизова? Ведь даже «словесная бездарность» Толстого никаких возражений не вызвала. Прочли, в лучшем случае покачали головой, — и только.

Откроем «Хозяина и работника», например, прочтем из этой повести одну страницу, а затем любую страницу ремизовскую, притом не каса-

ясь общего впечатления, ограничиваясь лишь вниманием к слогу, к языку и языковой ткани. Не думаю, чтобы могли возникнуть разногласия: подлинная жизнь — у Толстого, а у Ремизова, при всей его изощренности, при всем его искусстве, что-то очень похожее на стилизацию, на подделку под совершенную непринужденность, с нарочитостью, с усилием, дающими себя знать повсюду. Нет, Аввакум, к которому Ремизов постоянно взывает, писал не так, и Толстой к несчастному протопопу, подлинно необыкновенному писателю, бесконечно ближе, — вероятно, именно потому, что пишет без стилистических завитушек и ухищрений, думая о том, как бы вернее сказать, как бы сильнее и правдивее сказать, а не о том, как бы сказать узорчатее, хитрее, будто бы свободнее, будто бы народнее. (А отталкивания от газетного стиля было у Толстого не меньше, чем у Ремизова: «Если будет газетный язык в нашем журнале, то все пропало», — писал он в 1884 году Бирюкову, уговаривая его стать редактором предполагавшегося издания. И кстати тут же сочувственно вспомнил язык Аввакума.) Даже если признать, что в ходе развития русской литературной речи были допущены заблуждения, в которых повинны и Ломоносов, и Карамзин, и даже ненавистный Ремизову Грот со всеми его учениками и последователями, — даже если согласиться, что действительно словесное богатство некоторых старинных памятников неисчерпаемо, неужели так слаб наш язык, скажем, у Лермонтова или у того же Толстого, что он сам себя не выпрямил, не отстоял,

не превратил французскую оболочку в русскую сущность, не восстановил, хоть и в новом виде, своей прежней мощи? Не привожу никаких доводов, ссылаюсь лишь на слух и чутье: неужели не ясно, что именно Ремизовым владеет страх за язык и недоверие к нему, — как бы не выразиться по-французски! — а в «Хозяине и работнике», с Гротом или без Грота, все остается одинаково естественно, свободно, и течет в самом русском из всех возможных языковых русел!

Если бы мы при чтении Толстого или даже Тургенева замечали и чувствовали, что вот пишут они так-то, а говорим мы совсем по-другому, Ремизов, пожалуй, был бы прав. Но ведь этого нет. Скорее, читая Ремизова, мы удивляемся, кто говорит такими переливчатыми периодами, с несколькими десятками придаточных предложений, ни за какое главное не держащихся, будто из живого тела вынули скелет? Никто, — а если бы кто-нибудь так и принялся говорить, это была бы литература, «литературщина», по-своему стоящая «мастеров льда», во что-то «влагающихся» (в таком приблизительно духе говорил иногда Ключев, и это бывало нестерпимо фальшиво, как, впрочем, фальшив был он весь, насквозь, хотя и был очень даровит. Отдадим справедливость Ремизову: он так не говорит!). Нельзя между тем допустить, что теперь мы не только пишем, но и говорим по указке всевозможных Гротов: это было бы слишком большой для них честью. Разговорный язык слагался у нас, как впрочем и везде, в стороне от грамматических насилий, под различны-

ми перекрестными влияниями, одно отбрасывая, другое усваивая, и как всякий подлинно живой организм переваривая, претворяя в свое то, что было чужим. К разговорной речи хотел когда-то приблизить речь книжную Карамзин. Но в его время само понятие русского разговорного языка было неясно и шатко, и во всяком случае люди его круга, предпочитавшие язык французский, считали своей обязанностью и привилегией выражаться по-русски иначе, нежели представители средних классов, а тем более простой народ. Достаточно сравнить язык Крылова, действительно подслушанный у самых источников живой речи, с языком карамзинским, чтобы это почувствовать. С тех пор, однако, дело изменилось, и опять-таки, надо сказать, по причинам социально-историческим скорей, чем по побуждениям чисто лингвистическим. Перегородки исчезли, все слои смешались. Просвирни! Дайте любой просвиrne прочесть Ремизова, она не поймет и половины, а «Хозяина и работника» поймет. Как ребенок чувствует, когда с ним говорят «по-детски», так наверно народ, даже в самых своих глубинах, где-нибудь еще уцелевших, уловил бы, что с ним хотят говорить «народно». И наиболее книжным, самым далеким от истинного словесного творчества оказался бы язык, где больше всего заботы о близости к нему. Да и вообще, как в вечном изречении о том, что спасти душу можно только погубив ее, так и со словом: писать хорошо можно, лишь не видя своей цели в том, чтобы писать хорошо! «Все прочее — литература».

Эти замечания — вовсе не опровержение, и даже не попытка опровержения ремизовской языковой и стилистической проповеди. Для опровержения или хотя бы только критического разбора, нужна была бы систематичность и последовательность. Замечания мои, так сказать, «импровизационны» и вызваны они общими мыслями о Ремизове при чтении и перечитывании его книг. Спор с ним не может не быть страстен, даже запальчив: речь ведь не о нем самом, — о его даровании, о его искусстве спору нет! — а о нашем драгоценнейшем достоянии, о русской речи. Читая о «словесно бездарном» Толстом, начинаешь сомневаться и тревожиться: куда хочет Ремизов нас завести?

К Гоголю у Ремизова отношение особое, и не только к языку его. Ни о ком другом не говорит он с таким восхищением и даже трепетом: «гений», «магия», «оркестр» — эти слова у него сбережены для Гоголя, без единой отрицательной оговорки. Нет сомнения, что величайшее явление нашей литературы для Ремизова — именно Гоголь.

Удивительно, что два современных русских писателя, друг другу во всем противоположные, и насколько мне известно, отнюдь не склонные к взаимной высокой оценке, Набоков-Сирин и Ремизов, — оба выделяют Гоголя и от него ведут свою родословную. Но Набоков уловил у Гоголя черты, отчетливо отразившиеся в «Носе» и тех вообще гоголевских писаниях, в которых не обошлось как будто без сотрудничества Хлестакова, с его «легкостью в мыслях необыкновенной». На-

бокова прельщает Гоголь скользкий, летящий, свистящий, да, гениальный, и тут, и в этом, бесспорно, но от груза обычных земных забот и помыслов освободившийся. У Ремизова гораздо больше влечения к взвинченно-романтической и фантастически-фольклорной стороне гоголевского творчества, и чем Гоголь лиричнее, тем он ему дороже. Роскошь и чары гоголевского вдохновения, по-видимому, искупают в его представлении то, что при сравнении с Пушкиным или Толстым порой у Гоголя так мучительно, именно в лиризме, — а может быть Ремизов к этой сущности слова сравнительно мало внимателен: роскошь гоголевского стиля заслоняет от него ту фальшь слова, которую Гоголь часто грешит. Ремизов, пожалуй, прав в том, что Гоголь словесно богаче Толстого, — даже наверно прав. Но у Толстого в каждом слове и за каждым словом — тяжесть беспощадной внутренней проверки, а у Гоголя в этом отношении слух далеко не был абсолютен, и всякие свои Руси-тройки или Днепры, чудно сверкающие при тихой и ясной погоде, он если и «оркестровал», по Ремизову, то с педалью гудящей вовсю и не дающей разобраться в отдельных напевах. Это очень остро чувствовал Бунин, постоянно говоривший: «Гоголь — лубочный писатель... да, да, верно, гениальный, согласен, а все-таки лубочный». Не знаю отношения Ремизова к «Переписке с друзьями», книге ведь тоже гениально написанной, особенно в начале, но где фальшь интонации, со смесью высокомерия и смирения, бывает иногда нестерпима, — о чем, между про-

чим, очень хорошо сказал Базаров: «У меня такое настроение, точно я начитался писем Гоголя к калужской губернаторше!» Разумеется, словесная магия есть и в «Переписке», и вполне возможно, что Ремизов ценит ее не меньше, чем «Тараса Бульбу» или «Вия», от которых коробило и мутило Бунина. Но вот Толстой пишет: «И после глупой жизни придет глупая смерть...». Ни чар, ни магии, ни роскоши в этих простых словах нет, — а что все Днепры и казни Останов в сравнении с одной такой фразой?

От Гоголя у Ремизова многое: сказочность, пристрастие к какой-то своеобразной внутрirosсийской экзотике, самообнажение, и не только отсутствие, а враждебно-презрительное отшвыривание всякой душевной стыдливости при самообнажении. От Гоголя и юмор, «смешок», часто скрытый, чуть-чуть лукавый и уклончивый. (Непонятно только, по крайней мере для меня лично, то, что он находит Гоголя не смешным, неожиданно сходясь в этом с Тэффи, тоже всегда утверждавшей, что при чтении Гоголя она даже не улыбается, а не то, что смеется: очевидно, понятие смешного до крайности растяжимо. Пушкин, во всяком случае, был о Гоголе другого мнения.)

Гоголя тянуло к славянофильству. Тянет к нему и Ремизова, — хотя теперь, после всего того, что было на эти темы передумано, после Владимира Соловьева, сказавшего о славянофильстве самое существенное и верное, что следовало сказать, после всего, наконец, что произошло в России и с Россией, какие жалкие обрывки и остатки славя-

нофильства могут еще нас манить и прельщать? Кое-что уцелело, несомненно, кое-что как будто даже возрождается в новом виде. Но не страшно-вато ли возвращаться — как склоняется Ремизов, который утверждает, что былую Москву он помнит таинственной живой памятью, — к этой допетровской, сонной, азиатской одури, подышав иным, легким и ясным воздухом, который, пусть и по ошибке, казался нам воздухом нашим, своим?